

При соприкосновении с большим писателем высекаются искры. И уже неважно, кто и как к нему прикасается. Филолог ли осмысливает его пройденный путь, другой ли литератор вступает с ним в диалог – всё едино. Если же попадаютя равновеликие фигуры, разгорается большой костёр. Попробуем же и мы отследить по архивным угольям и музейной золе остатки некогда пылающего костра под названием «Горький и имажинисты».

Их отношения начали складываться в 1910-е годы, когда ещё никакого Московского Ордена имажинистов и в помине не было, а существовали самостоятельные поэты – Вадим Шершеневич, Рюрик Ивнев, Сергей Есенин и Анатолий Мариенгоф.

Отец Шершеневича – Габриэль Феликсович, крупный российский юрист – читал метапредметные лекции: «Общественные идеалы Ницше», «Роман “Воскресение” графа Л.Н. Толстого и вопросы уголовного права», «Герои Максима Горького перед лицом юриспруденции» и т. д. Его сын, молодой поэт, который в ту пору только определялся с эстетическими установками и размышлял о собственном творческом пути, безусловно, говорил с отцом обо всех классиках.

Десяток лет спустя Шершеневич напишет:

Всем ясно до невероятно простого:  
Наш Век – век Горького и Толстого...

Сергей Есенин, поначалу воспринимавшийся как новокрестьянский поэт, не мог пройти мимо первого пролетарского писателя Горького.

Рюрик Ивнев воспринимал того в первую очередь как революционера в литературе и в жизни. Анатолий Мариенгоф же всегда осмыслял и переосмыслял сатинское высказывание «Человек – это звучит гордо» и, периодически сомневаясь в величии Горького, писал полуязвительно и полувсерьёз:

«Средние писатели – вроде Тургенева, Гончарова, Гюго, Дюма – после смерти довольно быстро начинают превращаться сначала в писателей для юношества, потом для отрочества. А вот с Толстым, Чеховым, Достоевским, Мопассаном, Флобером ничего не делается, никаких превращений. Горький, конечно, принадлежит к плеяде писателей XIX века. Только он худший из лучших, самый маленький из самых больших».

Но это всё восприятия имажинистами Горького. А как он сам относился к «образноносцам»?

## Млад юнош с мушкой на щеке

Горький старался не пропустить модных литературных веяний. Постоянно просил своих корреспондентов рассказывать, что происходит в Петербурге и в Москве. Когда он узнал о футуристах, захотел познакомиться с ними поближе. Александр Черемнов, один из корреспондентов писателя, прислал ему карикатурный портрет Шершеневича. Для начала приведём общеизвестный отрывок:

«Кроме того, были мы на реферате футуристов. Выступал там <...> некоторый млад юнош – Вадим Шершеневич, сын своего отца, на тему “Златополдень русской поэзии”. Реферат совершенно гимназический, но референт интересен: молодой парень – весь накрашен, глаза подведены, на щеке мушка, в петлице иммортелька, словом, не то Оскар Уайльд, не то <...> с Кузнецкого Моста. И держится при этом Юлием Цезарем, что невольно хотелось его спросить: “Где это ты, щучий сын, так насобачился?”»

Горький отвечал на корреспонденцию: «Всё какие-то рыбо-ящеры мерещились. Теперь вижу: накрашены и с мушкой. В особенности такая фигура выигрывает в красоте, будучи поставлена рядом с Гаршиным, Чеховым, Буниным»\*.

Однако стоит учитывать, что чаще всего литературоведы приводят именно этот небольшой фрагмент, в то время как Черемнов описывает Горькому в гораздо большем размахе этот вечер и под его горячую руку попадают многие другие писатели:

«Были и прения. Говорил Валерий Брюсов, очень образованный коммерсант. Противно пускал слюни Сергей Яблоновский. Выступали три футуриста. Из них у Маяковского замечательно-скульптурная шея (он сильно декольтируется). А в общем все эти юноши оставляют впечатление деревенских парней, которые пишут похабные слова на стене волостного правления, мочатся при всём честном народе и, потряхивая кудрями, распевают гнусные частушки».

---

\* Однако же стоит учитывать, что, как сообщает В.А. Дроздов, Горький включил в свою личную библиотеку основные сборники футуристических стихов Шершеневича: «Автомобилья поступь: Лирика (1913–1915)» (М.: Пляды, 1916), «Быстрь: Монологическая драма» (М.: Пляды, 1916), одесский альманах «Чудо в пустыне» (1917), «Зелёная улица: Статьи и заметки об искусстве» (М.: Пляды, 1916) и ряд имажинистских изданий. Подробнее см.: Личная библиотека А.М. Горького в Москве. Описание. Кн. 1, кн. 2 (М.: Наука, 1981).

В последнем пассаже легко угадывается Сергей Есенин. И обратите внимание, как Черемнову в 1913 году удалось предугадать роспись стен похабными словами. Знали ли Есенин и Шершеневич об этих корреспонденциях? Может, тогда и роспись стен Страстного монастыря «кощунственными» стихами – нарочитая буквализация метафоры Черемнова – это всего лишь ответ старорежимной публике?

## Сектантство или искусство?

Так получилось, что Горький знал по доимажинистскому периоду не только Шершеневича и Есенина, но и Рюрика Ивнева. О своих встречах с «буревестником» последний написал небольшой очерк. Приведём один любопытный фрагмент из него:

«...на вечере в честь Маяковского, который состоялся на квартире художницы Любавиной, хозяйка дома решила представить меня Горькому. С трепетом подошел я к высокому и уже тогда немного сутулившемуся Алексею Максимовичу. Горький посмотрел на меня глазами, в которых светилась какая-то особенная ласковость, относившаяся не столько к тому, с кем он говорил, сколько ко всему окружавшему.

– Так это вы проповедуете самосожжение\*?

Я растерялся и не знал, что ответить.

– А с самой сектой самосожженцев вы знакомы?

Я ответил, что знаком... приблизительно. Набравшись смелости, сказал:

– Я в этой секте не состою.

– И все же стали ее проповедником?

Я не мог понять, говорит ли он серьезно или забавляется смущением желторотого птенца».

Необходимо пояснить, почему Горький так беспокоился: не сектант ли перед ним? В этом же 1913 году вышел роман Пимена Карпова\*\* «Пламень». В этой книге в изобилии можно было найти сцены дьявольской мессы и сектантских оргий. Священный Синод выдал постановление, согласно которому роман должен быть конфискован и сожжён, а автор – привлечён к ответственности за богохульство и порнографию.

Были большие споры: о состоятельности автора как литератора, о сущности искусства, о порнографии, о принадлежности Пимена Карпова к сектантам и т. д. Шума было много. И в этом контексте выходит книга Рюрика Ивнева – «Самосожжение».

Приведём одно небольшое, но показательное стихотворение:

Победный шум... Триумф последний...

Он что-то шепчет, Человек.

Его слова звучат, как бредни,

Как стон измученных калек.

---

\* Первая книга стихов Рюрика Ивнева называется «Самосожжение» (СПб.: Звено, 1913).

\*\* С автором «Пламени» Ивнев был знаком. Его вообще влекло к подобным людям не от мира сего. В 1919 году он даже приютит вечно скитающегося Карпова у себя. Примерно в это же время пристроит его стихи в изданный под эгидой имажинистов сборник «Автографы». Там будет опубликовано стихотворение, посвящённое Ивневу.

Вокруг – костер из бревен алых  
И дым, как сладостный туман.  
Глаза – в молениях усталых,  
И тело, точно истукан.

Последний звук и шелест звучный;  
Триумф – победа из побед.  
Над жизнью мертвенной и скучной  
Взлетел мыслитель и поэт.

Естественно, что, с одной стороны, Горький обратил внимание на эту книгу и начал подзуживать юного поэта, а с другой стороны, что Ивнев не выдавал себя. Он, конечно, не был сектантом, но любил эпатировать. А признаться в этом в приличном обществе – некомильфо. Сразу поставят в один ряд с футуристами. Ивнева и причисляли к ним, но традиционная поэтика и порой чрезмерная скромность не позволяют нам сегодня поставить этого поэта в один ряд с «горлопанами» и «апашами». Он иной. Он действовал более тонко. И эпатаж его нам только предстоит раскусить.

## Кусиков и Есенин в Берлине

В пореволюционную пору Горький с имажинистами не пересекался. У него просто не было возможности. Он в Петрограде занимается «Всемирной литературой», имажинисты успешно покоряют Москву. Вот-вот должен появиться Петроградский воинствующий орден имажинистов, но Горький уезжает за границу. По официальной версии – на лечение, по неофициальной – из-за разногласий с советской властью.

Выезжает из России и Александр Кусиков – один из самых деятельных имажинистов. Книжная лавка (одна из двух), постоянные литературные вечера, полулегальное издание книг – всё держалось на нём. Официально поэт едет в небольшое турне вместе с Борисом Пильняком. Длительность поездки – полгода. Но Кусиков и не думает возвращаться.

Сначала он обосновывается в Берлине. Было бы странно, если б он выбрал иной европейский город. К началу 1920-х годов – это, пожалуй, самый большой перевалочный пункт для русской эмиграции. Тут же Кусиков пристраивается в газете «Накануне»: чуть ли не в каждом литературном номере появляются его стихи и критические статьи.

В нескольких штрихах описывает это время и литературный процесс русского зарубежья Роман Гуль:

«Поздно встав, шёл по Лютерштрассе Кусиков в горе: “Почему в Берлине воробьи не чирикают?” По Шёнебергу в бобровом воротнике ходил Алексей Толстой, тоскуя по золотым куполам и ненавидя немцев за то, что они не говорят по-русски. На Виттенбергпляц я видел неуверенно летящей походкой идущего Сергея Есенина».

О чём горюет Кусиков? О покинутой России, в которую хочет вернуться, но по понятным только ему причинам не может. Гуль же имеет в виду конкретное берлинское стихотворение – приведём лишь самое начало:

Почему в Берлине воробьи не чирикают,  
Почему не каркает ворон с пня?

Друг мой случайный, смотри-ка  
На безворобьиного на меня.

Посмотри на меня, я такой сиротеющий  
Без кинжала, без шашки, без храпа коня –  
Это я угонялся за вражьей шеей  
Чтоб арканом её обнять.

Приезжает в Германию Есенин с Айседорой Дункан – и начинается череда пьянок, драк и прочих увеселительных мероприятий. Поэты забросили стихи, но чуть ли не каждый вечер стремятся на сцену – читать, удивлять, покорять, эпатировать.

Наведывается в Берлин и Горький. В его представлении есть большой поэт Есенин и поэт-оказия, поэт-имажинист Кусиков. Картина получается несколько предвзятая: «Около Есенина Кусиков, весьма развязный молодой человек показался мне лишним. Он был вооружен гитарой, любимым инструментом парикмахеров, но, кажется, не умел играть на ней».

Здесь, конечно, «буревестник» ошибался: и насчёт ненужности Кусикова, и насчёт его неумения играть на гитаре. С Есениным они немало времени провели вдвоём. Если в России поэты соревновались друг с другом (кто больше издаст книг, кто сделает это изошрённой\*), то в Германии старались держаться вместе.

## Скандал в Берлине

12 мая 1922 года был большой вечер в «Доме искусств». 14 мая берлинская газета «Руль» опубликовала заметку «В Берлине. Скандал в “Доме искусств”». 16 мая парижская газета «Последние новости» вышла с той же заметкой (местами воспроизводились одни и те же фразы и выражения), но с расширенным составом участников. Приведём её:

«Вчера в “Доме искусств” разыгрался большой скандал, вызванный советскими поэтами Есениным, Кусиковым и неизвестными молодыми людьми, их сопровождавшими. До полуночи в “Доме” продолжалась обычная программа: работающий ныне на большевиков гр. А.Н. Толстой читал свои воспоминания о Гумилёве, зверски расстрелянном теми же большевиками, поэты читали свои произведения, а около 12 ночи началось сверхпрограммное: появился Сергей Есенин с женой Айседорой, Кусиков и „молодые люди“ типа сотрудников “Накануне”.

– Интернационал, – скомандовала Айседора, и “молодые люди” запели. Раздались свистки и крики “долой”.

Муж знаменитости, Есенин, влез на стул и крикнул в толпу:

– Нас свистками не удивишь, сам умею свистать в четыре пальца.

Часть публики, поражённая этими доводами, покинула “Дом”, а оставшимся Есенин-Дункан прочёл свои стихи».

В этой небольшой заметке поражает несколько принципиально важных вещей. И «молодые люди» типа сотрудников «Накануне» (Толстой и Кусиков – они ведь тоже сотрудники этой газеты – откуда тогда такое удивление?); и позиция «красного графа» по Гумилёву и большевикам

---

\* По воспоминаниям В.Г. Шершеневича, Есенину удалось издать сборник стихов «Звёздный бык» в типографии агитпоезда Л.Д. Троцкого, а Кусикову – в типографии МЧК. Правда, какая книга была второй – вопрос.

(позиция человека, во многом близкого «сменовеховцам»), и восприятие уже русскими эмигрантами Есенина как Есенина-Дункан.

Следом в газете «Руль» появились «Европейские частушки» за подписью «Лерк.» – о прошедшем вечере и пении «Интернационала». Приведём лишь некоторые тексты, касающиеся поэтов-имажинистов, Алексея Толстого и Бориса Пильняка:

Мой милёнок в «Накануне»  
Служит матушке-коммуне –  
Здесь в Берлине этот грех  
Называют сменой вех.

Вехи все уже сменили  
И сидят графья в Вольфиле,  
И зовут на корабли  
Комиссаров короли.

Надоела Генуя –  
В шёлк себя одену я  
И для развлечения чувств  
Прогуляюсь в «Дом искусств».

Там всё пышно и богато,  
Там есть красные ребята,  
А меж ними – маков цвет –  
Самый красный наш поэт.

Станет в позу среди зальца –  
Сунет в рот четыре пальца –  
Сразу Лиговкой пахнёт,  
Испужается народ.

Наши парни – ёжики,  
Пустьят в ход и ножики,  
Потому они – стихия  
И вздыбённая Россия...

Все совсем себя раздели,  
Ходят и без трусиков –  
Кто был раньше в «Общем деле»  
Стал почти что Кусиков.

Прилетел аэроплан  
Из столицы Ленина –  
Вышла в нём мадам Дункан  
Замуж за Есенина.

Есть сыпняк и голодуха,  
Есть Дункан и ритмы духа,  
И приказ дал совнарком  
Восхищаться Пильняком.

Айседора с новым мужем  
Привезла совдеп сюда...  
Были времена и хуже,  
Но подлее – никогда!

Есенин, конечно, видел все эти частушки, написанные на скорую руку. И не остался в долгу. По приезде в Москву от поэта можно было услышать и такое:

У Европы рожа чиста  
Не целуюсь с ею!  
подавай имажинисту  
Милую Расею...!

Горький оказывался в сложном положении. Будучи в эмиграции и читая «Последние новости» и «Руль», он не мог пройти мимо едких заметок. Однако ж он воспринимал всякую информацию критически и о каждом поэте-имажинисте, так или иначе, составил собственное мнение.

Попробуем всё это проявить.

## Горький и Феррари

Для начала в наш разговор стоит ввести ещё одного персонажа – малоизвестного, но с примечательной биографией. Была такая поэтесса Елена Феррари. В Москве она посещала собрания «Лирики» (Бобров, Асеев, Пастернак), в русском Берлине успела со всеми перезнакомиться. Однако литература была лишь прикрытием для её деятельности. Феррари была разведчицей и террористкой.

Когда она попыталась наладить контакт с Горьким, тот навёл о ней справки и выяснил, что эта юная девушка успела отметиться на фронтах Гражданской войны и в террористических актах в Европе. Феррари протаранила «Лукулл» – яхту П.Н. Врангеля, на которой перевозились деньги для его армии. Конечно, это было в первую очередь покушение. Неудавшееся. Но и из невыполненной операции можно извлечь символический капитал.

Феррари, в свою очередь, была знакома с Кусиковым. Надо сказать, что для последнего такое знакомство далеко не случайное. В революционной Москве он, может быть, как ни один другой имажинист тесно общался с Яковом Блюмкиным\*. Подобные связи и порождали вокруг поэта слухи о его причастности к советской разведке\*\*.

---

\* Блюмкин Я.Г. (1900–1929) – убийца немецкого посла Мирбаха, советский разведчик, не без участия которого проходили «красные» революции по Ближнему Востоку.

\*\* Николай Оцуп полагает, что Кусиков был близок не только и не столько к разведке, сколько к чекистам. Приведём небольшой отрывок из его очерка «Сергей Есенин»: «С имажинистом Кусиковым <...> я познакомился при обстоятельствах, довольно своеобразных. Было это в дни нэпа в Петербурге. В особняке, принадлежавшем раньше Елисееву, ярко горели люстры. Почувствовалось и даже очень, когда каким-то образом в зале появился неприятного вида военный. Он подошел к одной из дам и отпустил ей какую-то грубую шутку. Муж дамы, П. – ударил обидчика. Тот спокойно принял пощечину и заявил еще спокойнее: “Будьте любезны следовать за мной”. Я был рядом, и когда военный схватил П. за руку, я вступился за П. <...> Поняв, с кем мы имеем дело, ни П., ни я не могли сопротивляться. Мы готовились следовать за чекистом, который пылал жаждой мести и, конечно, имел полную возможность эту месть утолить. Никто из наших собратьев, терроризированных, как и мы, не посмел вступить за нас. На счастье наше, в зале случился московский имажинист Кусиков. Он сделал то, что казалось нам невозможным. Кусиков сумел в две



При чём здесь имажинизм? Феррари вместе с Виничио Паладини, итальянским поэтом русского происхождения, в 1927 году организует группу имажинистов. Лазарь Флейшман проливает свет на это событие: «Пятнадцать месяцев, проведенных в Италии, обозначили собой новый поворот в ее литературной биографии. Она подружилась с Виничио Паладини <...> горячим адептом русского большевизма и советского художественного авангарда. При его участии (ему принадлежала обложка и иллюстрации) Феррари выпустила на итальянском языке стихотворный сборник “Prinkipo”, содержащий ее константинопольские вариации, переданные Горькому на суд зимой 1923 г. Стихи вышли в совместном переводе поэтессы и Умберто Барбаро, друга Паладини. Вместе с ними двумя Феррари вошла также в группу “имажинистов”, дебютировавшую в феврале 1927 г. журналом *Laguota dentata*».

Приведём небольшое стихотворение, посвящённое некоему А.Б. (что позволяет нам предположить, что за этими инициалами скрывается Александр Борисович Кусиков):

Золото кажется белым  
На темном загаре рук.  
Я не знаю, что с Вами сделаю,  
Но сама – наверно, сгорю.

Я уже перепутала мысли  
С душным, горячим песком,  
От яблок неспелых и кислых  
На зубах и словах оскомины.

Беспокойно морское лето.  
Я одна. Я сама так хотела.  
Обеднелые грустны браслеты  
На коричневом золоте тела.

Сохранилась переписка Елены Феррари и Максима Горького. Девушка присылала в том числе и сборники своих стихов, спрашивала у мэтра советы, просила рекомендации к московским поэтам и т. д. Любопытны отзывы живого классика.

Начнём издалека и приведём первый, касающийся Ходасевича и Пастернака. Этот отзыв поможет нам понять, какие претензии могут быть у Горького к стихам Феррари и косвенно к стихам Кусикова: «Я – поклонник стиха классического, стиха, который не поддается искажающим влияниям эпохи, капризам литературных настроений, деспотизму “моды” и “законам” декаданса. Ходасевич для меня неизмеримо выше Пастернака, и я уверен, что талант последнего, в конце концов, поставит его на трудный путь Ходасевича – путь Пушкина».

Ещё один отзыв, полный сарказма, уже соприкасается с поэтом-имажинистом: «Сударыня! У вас есть ум – острый, вы обладаете гибким воображением, вы имеете хороший запас впечатлений бытия и, наконец, у вас налицо литературное дарование. Но при всем этом, мне

---

минуты запугать чекиста какими-то своими московскими связями, пригрозил ему, что подаст на него жалобу куда-то и, к удивлению всех нас, чекист с красноармейцами исчезли» (Русское зарубежье о Сергее Есенине: воспоминания, эссе, очерки, рецензии, статьи – М.: Терра, 2007. С. 177–178).



кажется, что литература для вас – не главное, не то, чем живет душа ваша и, вероятно, именно поэтому вы обо всем пишете в тоне гениального Кусикова, хотя вам, конечно, известно, что каждая тема требует своей формы и что истинная красота, так же, как истинная мудрость – просты».

Что же мы видим? Горький не оригинален в своём восприятии поэзии имажинистов. Ему нравится традиционная поэтика. Поэтому всё, что предполагает авангардное мышление, просто-напросто недоступно писателю. Может, оно и к лучшему. Помогли ли советы Горького Елене Феррари? Она забросила поэзию и перешла на прозу, написав авантюрный автофикшн.

## Чтение как перформанс

Есть, однако, один эпизод с есенинским чтением, который Горький мог бы оценить, потому что это действие напрямую касается его творчества. И тут хочешь или не хочешь, но «авангардное трюкачество» придётся понять.

О чтении «Чёрного человека» вспоминали Иван Грузинов\* и Анатолий Мариенгоф\*\*. Но у них выходило вскользь и как бы между делом. Матвей Ройзман описал всё конкретно и в деталях. Поэтому обратимся к его рассказу:

«Есенин подумал и объявил, что прочтет “Чёрного человека”. Еще до ссоры Сергея с Анатолием было назначено заседание ордена. Я пришел в “Стойло” с опозданием и застал Есенина читающим конец “Чёрного человека”. Слушающие его В. Шершеневич, А. Мариенгоф, И. Грузинов, Н. и Б. Эрдманы, Г. Якулов были восхищены поэмой <...>

Сергей сел на кровати, положил правую забинтованную по локоть руку поверх одеяла, во время чтения “Чёрного человека” поднял её левой, обхватил. Вероятно, потому, что не мог в такт, как обычно, поднимать и опускать забинтованную, раскачивался из стороны в сторону. Это напоминало то незабываемое место в пьесе М. Горького “На дне” (МХАТ), когда татарин, встав на колени и обняв левой рукой забинтованную правую, молится, раскачиваясь из стороны в сторону. <...>

Все – поза Есенина, его покачивание, баюкание забинтованной руки, проступающее на повязке в одном месте пятнышко крови, какое-то нечеловеческое чтение поэмы – произвело душераздирающее впечатление».

В чём же заключается перформанс? Приведём для сравнения сцену из горьковской пьесы «На дне»:

---

\* «Есенин передавал мне, что, будучи в Италии, он посетил Максима Горького. Читал ему “Черного человека”. Поэма произвела на Горького большое впечатление. Горький прослезился». – Грузинов И.В. С. Есенин разговаривает о литературе и искусстве. // Собрание сочинений. / Составление, подготовка, комментарии и послесловие – О.В. Демидов. – М.: Водолей, 2016. С. 325.

\*\* «[Есенин] прочел всю “Москву Кабацкую” и “Черного человека”. Я сказал: “Москву Кабацкая” – прекрасно. Такой лирической силы и такого трагизма у тебя еще в стихах не было... умудрился форму цыганского романса вывозысить до большого, очень большого искусства. А “Черный человек” плохо... совсем плохо... никуда не годится». – “А Горький плакал... я ему “Черного человека” читал... слезами плакал...” – А.Б. Мариенгоф. Роман без вранья. // Собрание сочинений в 3 т. 4 кн. – М.: Книжный клуб «Книгобек», 2013. – Т. 2, кн. 1. С. 619.

Т а т а р и н (*садится на нарах и качает свою больную руку, как ребенка*). Старики хороши были... закон душе имел! Кто закон душа имеет – хороши! Кто закон терял – пропал!..

Б а р о н. Какой закон, князь?

Т а т а р и н. Такой... Разный... Знаешь какой...

Б а р о н. Дальше!

Т а т а р и н. Не обижай человека – вот закон!

С а т и н. Это называется «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных»...

Б а р о н. И еще – «Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями»...

Т а т а р и н. Коран называет... ваш Коран должна быть закон... Душа – должен быть Коран... да!

Через такой узнаваемый жест, на что и обращает внимание Матвей Ройзман, Есенин создаёт перформанс с чтением «Чёрного человека» – поэмы, в которой лирический герой, собственно, и теряет «закон» в душе, что и приводит к «шее ноги» и полному распаду личности.

Узнал бы Горький собственного персонажа? Думается, узнал бы – и по-новому взглянул на творчество имажинистов. Но история сослагательного наклонения не знает. Ей доступны только ещё не раскрывшиеся микро-сюжеты.

Расскажем ещё об одном.

## О «мемуарах» Анатолия Мариенгофа

Появление такой книги, как «Роман без вранья», – это очень сложный и путаный процесс. Когда заходит речь об этом тексте, многие выпускают из внимания историко-культурный контекст.

Для начала стоит вспомнить несколько ключевых эпизодов.

В 1926 году Мариенгоф выпускает две книги – сборник стихов «Новый Мариенгоф», в котором есть отдельный раздел «Сергею Есенину», и небольшую брошюрку «Воспоминания о Сергее Есенине».

Следом появляется истерическая статья Бориса Лавренёва «Казнённый дегенератами», где ленинградский писатель обвиняет имажинистов (и, в частности, почему-то Мариенгофа, с которым последние пару лет Есенин практически не контактировал, и Кусикова, который давно эмигрировал) в смерти поэта.

Мариенгоф попытался выйти на контакт с Лавренёвым и судиться с ним, но дело заглохло в канцелярии Всероссийского союза поэтов. Тогда и появился «Роман без вранья» – во многом как ответ на статью Лавренёва. Природа этого текста особенная: он стоит на стыке художественной литературы и non-fiction. Грубо говоря, это роман, основанный на реальных событиях. Очередная имажинистская попытка совместить несовместимое.

Как всю эту историю с книгой Мариенгофа воспринимал Горький? Попробуем показать это через три письма.

Первое адресовано Валентине Ходасевич, художнице, племяннице известного поэта (от 13 января 1926 г.): «Дорогая моя Купчиха, – умоляю: пришлите мне статью Бориса Лавренева о Есенине. Очень благодарю Вас за присланные вырезки; буду благодарить еще больше за Лавренева, ибо человек этот меня интересует. Есенина, разумеется, жалко, до судорог жалко, до отчаяния, но я всегда, т. е. давно уже думал,

что или его убьют, или он сам себя уничтожит. Слишком “несвоевременна” была голубая, горестная, избитая душа его».

Горький не просто интересуется постесенинской историей – он намеревается писать повесть. Об этом – в одном из следующих писем, адресованных той же Ходасевич: «Все, что написано о С. Есенине, – я – благодаря главным образом Вам – имею. Все, что напишут – буду иметь. Мне чудится, что, кончив роман, я попробую написать повесть о поэте, т. е., вернее, о гибели поэта. Нечто очень дерзкое и фантастическое».

Пока собирается материал\*, пока пишется повесть, в СССР выходят многочисленные мемуары, мемориальные заметки в печати и целые сборники «Памяти Есенина». Появляется, наконец, и «Роман без вранья».

Горький в письме Д. А. Лутохину даёт нелестную характеристику как автору, так и тексту: «Не ожидал, что “Роман” Мариенгофа понравится Вам, я отнёсся к нему отрицательно. Автор – явный нигилист; фигура Есенина изображена им злостно, драма – не понята. А это глубоко поучительная драма, и она стоит не менее стихов Есенина. Никогда ещё деревня, столкнувшись с городом, не разбивала себе лоб так эффектно и так мучительно. Эта драма многократно повторится. Есенин не болел “дурной болезнью”, если не считать таковой его разрыв с деревней, с “поэзией полей”. Если б он мог воспевать деревню гекзаметром, как это делает Радимов, мы имели бы Кольцова в кубе, но будущий “великий русский художник”, которого, мне кажется, – уже не долго ждать, – не получил бы изумительно ценного материала для превосходного романа».

Настоящий “великий русский художник”, как мы уже знаем, собирал этот материал для повести. Таковой не случилось. Наверное, к счастью. Потому что мы имели бы ещё один неудобоваримый текст о рязанском Леле или «красногривом жеребёнке», попавшем под «чугунный поезд», что далеко от истины.

## Шершеневич и «Бич»

Ряд следующих микросюжетов касается приездов Горького в СССР. В мае 1928 года он после долгого перерыва возвращается на родину. Пока не насовсем, а строго для того чтобы с помпой отпраздновать собственное шестидесятилетие. В периодической печати возникает ряд заметок и статей, чествующих юбиляра. На этом фоне выделяется журнал «Бич», который отвёл под Горького целый номер.

Там же публикуется стихотворение Вадима Шершеневича – «Моя просьба к Горькому». Так как текст девяносто лет не переиздавался, стоит его привести полностью.

---

\* При этом Горького интересуют во многом стихи Есенина, посвящённые Дункан. Таковых нет или практически нет. Есть только гипотезы литературоведов об образах, встречающихся в этих текстах. Самое распространённое представление о стихах, которые должны бы быть посвящены Дункан, – это тексты наподобие «Сыпь, гармоника! Скука... Скука...», то есть с обценной лексикой. Так их воспринимает и Горький. Обращаясь к Ходасевич, он акцентирует на этом внимание: «Так что, списывая стихи Есенина, Вы не смущайтесь, я тоже слова эти знаю издревле». Какого бы было удивление Горького, если б он узнал, что тот же текст «Сыпь, гармоника! Скука... Скука...» посвящён... Мариенгофу.

Хорошо ли, плохо ли, но вымучу  
До мозоли мозгов, до мозоли руки  
Приветствие Алексею Максимычу!  
Ведь мы как-никак с ним земляки,  
Он с Волги, я тоже с Волги;  
Значит, дело идёт почти о долге.

Всем ясно до невероятно простого:  
Наш Век – век Горького и Толстого\*,  
Толстой, как упрямый граф прошлого поколения,  
Не особенно дожидался  
Ни моего совета, ни моего стихотворения  
И совершенно самостоятельно скончался.

Алексей Максимыч! Я надежду лелею  
(Я не писал на авось бы!) –  
Что Вы хоть издалека, хоть в день юбилея  
Выслушаете мою скромную просьбу.

В гимназическую пору, когда такое коленце  
Выкидывали дореволюционные просвещенцы:  
У нас, мол, такой учительский псих,  
Что к завтраму выучите от сих и до сих! –

Был у нас учитель словесности,  
Даже после смерти не достигший известности  
(А уж после смерти, особенно после столетнего тления,  
Молва даже из идиота делает гения).

Этот учитель, лишённый и спичечного пламени,  
Перевёл на русский Песнь о Калевале;  
И все гимназисты на его экзамене  
На этой Калевале околевали.

Зубрили мы: ругает у Державина Зевс кого,  
Сколько страниц у Достоевского,  
И мечтая о новой прозе, – покедова  
Ровно год жевали мы Грибоедова.

В конце Садовника – петитом непроходимым:  
Десять строк о Чехове и несосветимый бред  
Над Андреевым, над Горьким Максимом  
Да Бальмонт (декадентский-с поэт!)

Однажды спросил я учителя о Мальве  
(Ведь Мальвой одной уж Горький велик!) –  
Стал учитель каким-то розовопалевым,  
А потом сизобурмалиновым стал старик.

– Я надеюсь, Шершеневич, что это шутка!  
Вам ещё рано такое-сякое читать!  
В Мальве описана, как бы сказать, «проститутка»...  
(Учитель не рискнул рочче сказать!)

---

\* Лев Толстой возникает тут неслучайно. Журнал «Бич» в том же 1928 году уже выпускал тематический «толстовский» номер.

И шли вы, Алексей Максимыч, в параграфе неслабом:  
– Талантлив, но пишет, увы! О похабном!  
В результате:  
Сколько рассовано нами было проклятий  
Под чтение песни о Гайавате!

От Державина, Пушкина, Тургенева, Толстого,  
От Лермонтова и Карамзина.  
Тошнило от каждого, даже дубину записного!  
А к Горькому влекла новизна.  
И учили вас Пети, Сони и Коли,  
Где угодно, но только не в школе!

Вы, расцветший на виду поколений,  
Вы, о котором слава звенит, –  
Вы прошли от нижней до самой верхней ступени,  
И теперь уперлись – извините – в зенит.

Но даже с годами перемены слабы  
В школе второй и иных ступеней.  
Всё также учат подростышей шкрабы\*,  
Мусоля отрывки из повестей.

Литература продвинулась на сотню листиков  
И, как ненавидели Пушкина подчас,  
Скоро орава весёлых гимназистиков  
Ненавидеть будет и Вас.

Максим Горький! От гимназической тысячной артели  
Разрешаю себе Вас попросить:  
Пишите так, чтоб учителя краснели  
И не смели  
Заставлять Вас в школах учить!

Алексей Максимыч! Вы – из Нижнего, я из Казани!  
Как земляк, вам желаю литавров и слав.  
Вот моя просьба и моё указанье:  
П о п а д а й т е в и с т о р и ю,  
В у ч е б н и к и н е п о п а в !

Стихотворение шероховатое, как пишет сам Шершеневич, «до мозоли мозгов, до мозоли руки». И тем не менее оно резко выделяется на общем фоне своей неприглаженностью – и стилистической, и социокультурной, и даже политической. На соседних страницах журнала «Бич» появляются заметки и фельетоны, но в них скорее доброе вышучивание, нежели тонкая ирония и сарказм.

Позиция Шершеневича, который всю жизнь по-футуристически бился с любыми авторитетами (с любым авторитаризмом), ясна: ещё чуть-чуть и Горький станет памятником самому себе. И необходимо сделать всё, чтобы этого не случилось. Предупреждение, напомним, написано за несколько до лет переименования Тверской улицы в Москве – в улицу Горького, Нижнего Новгорода – в город Горький и т. д. Шершеневич видел, к чему всё это может привести.

---

\* Шкраб – сокращённо от «школьный работник».

В том же номере появляется небольшой экспромт «Почти по Горькому» – небольшая вариация на «Песню о Соколе» – о советском чиновничестве:

Ползя тихонько от зама к заву,  
Умом не блещет и глуп он в меру,  
И совершает прекрасно, право,  
Другим на зависть свою карьеру.

И поднимаясь, хоть и не сразу,  
Чинов достигнет и славы тоже,  
Лишь воплощая слова рассказа:  
– Рождённый ползать, с л е т е т ь не сможет!

## Эпиграмма на Горького

После окончательного переезда «буревестника» и «обронзовения» какой-то злостный шутник пишет эпиграмму. Она называется «Барон из Сорренто». Приведём её полностью:

«В деревне некогда барон  
Жил с деревенской простотою»  
Дедушка Крылов

В Сорренто некогда барон  
Жил с пролетарской простотою:  
Хранил он в банке миллион  
И поторговывал собою.

Он летом – ярый коммунист;  
К зиме ж, как заяц, вдруг белеет.  
Зимой – преданный фашист.  
А к лету снова багровеет.

Весною здесь, зимою там, –  
И всюду денежки собирает..  
Вот у кого учиться нам,  
С кого пример брать подобает!..

Дело принимает серьёзный оборот. 22 мая 1933 году Бонч-Бруевич пишет об этой анонимной эпиграмме – напрямую Сталину: «Дорогой Иосиф Виссарионович, на днях мне по почте прислали пасквиль на Горького, подлинник которого я отослал при особом письме т. Г.Г. Ягоде. <...> Полагаю, что следовало бы сделать самое энергичное распоряжение в ОГПУ для изловления этих негодяев, которые позволяют себе рассылать по нашей почте такие гнусности на Алексея Максимовича».

При чём здесь имажинисты?

Был в их рядах молодой человек, который как раз прославился написанием басен и подобных эпиграмм, – это, конечно, Николай Эрдман. За этот ли текст, за другой ли, но поэт был арестован 11 октября 1933 года в Гагре. От письма Бонч-Бруевича до ареста Эрдмана прошло всего лишь 4,5 месяца.

Принадлежит ли этот текст Эрдману – вопрос. Никаких подтверждений и быть не может. Рукописей с «Бароном из Сорренто» не сохранилось. Эпиграмма ходила в списках. Да и небезопасно было раскрывать себя.

Однако молва приписывает текст именно Эрдману. И толков об этой ситуации возникает много. И обсуждается всё это долгое время. Об этом мы узнаём из дневника другого имажиниста – Рюрика Ивнева. Там есть запись: «19 мая [1931 г.]. Много разговоров вызывает приезд Горького. Эрдману (Коле) приписывают какую-то злую эпиграмму насчет приезда Горького в СССР. А.Д. Головня дал мне стих Эрдмана “Самоубийца”, стих с сомнительным смыслом».

Есть, правда, один нюанс.

Летом 1925 года Николай Эрдман при активном участии Луначарского отправился в командировку по Германии и Италии. Заезжал на две недели к Горькому. В августе он отчитывался родителям: «Из Рима мы решили ехать в Сорренто и на Капри. Там мы будем отдыхать и там живёт Горький, а говорят, что Горький – это самое интересное в Италии».

Из другого письма родителям: «Каждый вечер бываем у Горького. Приходится согласиться с Райх, что в Италии самое интересное – русский Горький, может быть, потому что у них нету русской горькой. Читал он мою пьесу и вызывал меня для беседы о ней. Многое осуждал, но больше хвалил...»

Пьеса, о которой идёт речь, – «Мандат». В письмах – лирика. Да и особенно много не расскажешь. Формат такой. Много позже, сорок лет спустя, Эрдман вспоминал об этой встрече в отдельной мемуарной очерке – правда, также коротко и строго по делу:

«Алексей Максимович в просторном светло-сером костюме сидел за столом. На столе лежала моя пьеса, рядом с ней лист бумаги, на котором, как я догадался, были выписаны номера страниц.

– Мне пьеса понравилась, – сказал Горький. – Хорошая пьеса. Умно. Смешно. Вот у вас там жилец ходит в горшке из-под лапши. Это Мейерхольд придумал?

– Нет, это я, я придумал.

– Это вы плохо придумали. А вот разговаривают у вас люди интересно. Язык хороший. Только почему вы пишете... – и Горький, заглядывая в листок, стал перевертывать страницы пьесы и читать фразы, которые он отметил как неудачные. Отметок было много, и я чувствовал, как от моего хорошего языка почти ничего не остается.

– Вы пробовали когда-нибудь писать рассказы?

– Нет.

– И не пробуйте. Пишите пьесы. Вот я ни одной хорошей пьесы не написал. А вы, по-моему, напишете. Обязательно напишете. Потому что вы драматург. Настоящий драматург.

Горький встал и пожал мне руку. Я ушел окрыленный».

То есть всё как будто говорит о том, что Николай Эрдман в 1930-е годы никак не мог написать злую эпиграмму. Однако ж статус баснописца и первого остряка Москвы сделал своё дело.

## «Заблудившийся» трамвай

В 1928 году Вадим Шершеневич пишет пьесу «Ошибка товарища Николая» (второе название – «Нельзя прощать») – острую, едкую и саркастическую (то есть написанную абсолютно в духе автора). Влади-



мир Дроздков ставит её в один ряд с «Самоубийцей» Николая Эрдмана. Пьесы действительно похожи – хотя бы авторской смелостью назвать все вещи своими именами и показать идиотические ситуации, в которые попадают герои старого дореволюционного мира, оказавшиеся в государстве рабочих и крестьян.

Есть главное действующее лицо – Фёдор Завьялов, бухгалтер, партийный человек, скрывающий своё жандармское прошлое. Есть одна деталь, по которой его могут разгадать, – это фотокарточка. Её-то и находит молодой человек – Николай Лазарев, тоже партиец, его бросают закрывать должностные дыры, но видно, что этот юноша многого может достичь.

Когда «раскрывается» Завьялов, Лазарев «совершает ошибку» – доверяет, не звонит в ГПУ, не сдаёт бывшего жандарма, а тот, в свою очередь, строит многоходовой план мести. Как итог – юноша погибает.

Есть Мария Семёновна Рыбникова – тихая набожная купчиха, сумасшедшая старушка; её сын Пётр Рыбников – активный псих (так у Шершеневича); её дочь Елена Завьялова – девушка, мечтающая учиться в вузе, но переживающая из-за своего происхождения.

Однако это только первый план текст. Название пьесы позволяет по-разному интерпретировать авторскую задумку: кого понимать под товарищем Николаем? Есть несколько вариантов.

Николай Лазарев – это просто, понятно и не так интересно.

Другой вариант – Николай Рыбников, герой, который присутствует в пьесе номинально: о нём постоянно говорят, он купец, действуют в комедии его жена (после смерти мужа сошедшая с ума и пишущая письма давно расстрелянному императору) и его дети (тоже по-своему сходящие с ума: сын Пётр удавил собаку и до сих пор нет-нет да и «видит» её, и пытается играть с воображаемым другом; дочь Елена выходит замуж за партийца Фёдора Завьялова, а когда выясняется, что он «перебежчик», впадает в панику и совершает ряд безумных поступков и в итоге, когда её исключают из вуза, решает отравиться). Его ошибка в том, что рано умер и не уберёт семью от распада, не вразумил жену и не успокоил её, ничему не научил детей.

Третий вариант – Николай II, не удержавший власть и позволивший случиться революции. Из-за него – Гражданская война и её последствия. Из-за него – всё это безумие, которое разворачивается в пьесе. Именно ему Мария Семёновна Рыбникова пишет жалобы, которые, конечно, останутся без ответа.

Четвёртый вариант появляется из образа большой страны, представленной в виде несущегося через время и пространство трамвая.

Е л е н а. Ты, Пётр, не видишь этой жизни. Трудно нам в неё пробраться. А я силком лезу. И есть место, находится. Знаешь, как в трамвае. Уж на что кажется полным-полно, а повиснешь на подножке, держишься, а там со ступеньки на площадку, а потом, как кондуктор деньги возьмёт, тут уж держишь себя равноправным козырем, в самый вагон лезешь, да ещё других не пускаешь. И мчится трамвай быстро, быстрёхонько...

П ё т р. А куда идёт-то трамвай, подумали ли?

Е л е н а. Куда надо, Пётр, туда и идёт. К цели идёт трамвай. К большой цели, еле узнаваемой.

П ё т р. Никуда не идёт трамвай, сестрица моя милая. На месте стоит трамвай.

Мы имеем дело с аллюзией на «Заблудившийся трамвай» Николая Гумилёва:

Как я вскочил на его подножку,  
Было загадкой для меня,  
В воздухе огненную дорожку  
Он оставлял и при свете дня.

Мчался он бурей темной, крылатой,  
Он заблудился в бездне времен...  
Остановите, вагоновожатый,  
Остановите сейчас вагон.

Образ, заданный Гумилёвым, на протяжении всего XX века будет проявляться у советских писателей. Можно вспомнить хотя бы Михаила Булгакова и Бориса Пастернака с их главными текстами – «Мастером и Маргаритой» и «Доктором Живаго». Вот и у Шершеневича возникает этот образ.

Появляется в пьесе и горьковский мотив: человек звучит гордо. Только вот ставится под сомнение. Фёдор Завьялов, открывшийся своей жене (что он бывший жандарм), угрожает ей:

Фёдор. А только знай: никуда ты не уйдёшь. Ты думаешь, что я со страху, сдуру тебе всё выболтал? Ай нет! Фёдор Завьялов всегда знает, что он делает. Мы теперь только крепче связаны. Моя смерть и твоя гибель, Елена, будет. Не оторвёшься от меня. Не позволю.

Елена. Захочу, так оторвусь. Двигаться надо. Двигаться.

Фёдор. А ты двигайся... Только не больше, чем верёвочка позволит.

Елена. Верёвку оборвать можно.

Фёдор. Я крепкую свил. Надорвёшься, а не разорвёшь.

Елена. Нет такой, чтобы не разорвать. Канаты люди рвут. Цепи разрывают.

Фёдор. Какой человек рвать будет. А ты что? Ты разве настоящий человек?

А позже, когда Николай Лазарев «открыл» Фёдора Завьялова (молодой партиец – партийца «со стажем»), последний уже теряет всё человеческое и, стоя на коленях и целуя руку с револьвером, просит повременить и не раскрывать тайну. Молодой человек соглашается. И тут возникает другой горьковский мотив: рождённый ползать – летать не может.

Николай. И я делаю то, что мне не надо делать... Я сознаю свою ошибку.

Фёдор. Это не ошибка, не ошибка. Это человеческая правда.

Николай. Слушайте, вы, ничтожество! Я даже не могу назвать вас человеком.

Фёдор. И не надо... Не надо... Я ведь не человек. Я так... Плевок...

*(Николай уходит.)*

Фёдор. <...> Я человек. И мы ещё поборемся. Уничтожу и разорву. Вот так. Месяц срок. Целый месяц. Это много. Фёдор Завьялов, честное слово, это много. Только не надо отступать. Никогда. Ни перед кем. Я стоял на коленях, я плакал. Тем хуже для него. Я целовал ему руки. Ну, что ж! Тем хуже для него, тем хуже.

И таким образом из пьесы получается достаточно оригинальная фантазмагория. Тем не менее к постановке её не приняли. Не запретили, но и не разрешили. Так часто бывало. Сегодня в архивах Главреперткома хранятся тысячи и тысячи неразрешённых к постановке, но по-своему удивительных пьес.

Шершеневич не сдавался. Сначала пытался переделать пьесу под сценарий фильма. Когда и тот не взяли в работу, решил писать Горькому. Уж «буревестник»-то должен был понять весь масштаб замысла. Однако Алексей Максимович ответил – быстро, лаконично и обескураживающе:

«...Лично я не нашёл и не почувствовал в ней этих достоинств. В первом акте она вызвала у меня впечатление плоской и грубо сделанной шутки. Старуха Рыбникова, которую вы рекомендуете “сумасшедшей” – неудачный гротеск, и таков же её сын <...> Завьялов, которого вы рекомендуете “партийцем со стажем”, – фигура тусклая и невероятная, она даже и мелодраматически неудачна – слишком “наивен этот Ваш злодей”. Основным качеством всех героев пьесы является их поразительная глупость и социально-политическая безграмотность. Трудно поверить, что такие люди существуют, во всяком случае, Вам не удалось убедить меня, читателя, в факте бытия людей, оформленных так, как Вы оформили их. Я не стану распространяться, скажу просто: пьеса всячески неудачна, и есть в ней что-то, отталкивающее меня. Я думаю, что люди, которые препятствуют её обнародованию, действуют правильно».

Удачна ли пьеса, нет ли – каждый из нас может решить, благо, что её напечатали.

## Звучит ли гордо человек?

Тем же вопросом, который задал Горький и который поднимался у Шершеневича, – звучит ли человек гордо? – занимался и Мариенгоф. На протяжении всей жизни он обращался к нему – и всякий раз получались стихи.

Приведём для начала отрывки и полные тексты, чтобы увидеть всю картину целиком:

Пятнышко, как от раздавленной клюквы.  
Тише. Не хлопайте дверью. Человек... –  
Простенькие четыре буквы:  
– умер.

(1918)

Кричу: «Мария, Мария, кого вынашивала! –  
Пыль бы у ног твоих целовал за аборт!..»  
Зато теперь: на распеленутой земле нашей  
Только Я – человек горд.

(«Твердь, твердь за вихры зыбим», 1918)

Человек. Красивый, какой красивый –  
– месиво!  
Танки кости, как апрель льдинки.  
Досыта человечьей говядины псы...

(«Кондитерская солнц», 1919)

«Что прикажете?»  
– Кто вы такой?  
«Мы-с: человек».

– Что это значит?  
«Человек, по-нашему, официант».  
– Очень мудрый ответ, трансцендентальный,  
Поэтому:  
Будьте добры, котлетку маршалю.

(«Ночное кафе», 1924)

Жизнь пробежав с горы на лыжах,  
Нехитрый понял я закон:  
Чем ближе человек к животному, чем ближе, –  
Тем и счастливей, бедный, он.

(1943)

– Эй, человек, это ты звучишь гордо?  
И – в морду! в морду! в морду!

(1943)

«Эй, человек!..»  
И человек летит со счетом.  
И человеку платит этот век  
С широкой щедростью из пулемета.

(1943)

В мирное время человек в лучшем случае обращается в предмет мебели, в худшем – в ничто. Теория Раскольникова в действии. И гордости никакой тут и в помине нет.

Человек превращается в мясо, в месиво, в ничто – всякий раз, как разгорается война. Это видно по датам написания стихотворений: 1918, 1919, 1943. Чаще всего мы имеем дело именно с короткими текстами в четыре, а то и в две строки. Больше писать – невозможно. Не говорить об этом вообще – подло. И даже Теодор Адорно с возможными варварскими стихами после Освенцима остаётся в стороне. Потому что поэзия есть дыхание жизни. Нет её – нет человека. Поэтому Мариенгоф в самое трудный час находит время для пары строк.

## О встречах с М. Горьким и М.Ф. Андреевой

Напоследок приведём небольшой мемуарный очерк, написанный Анной Никритиной, женой Мариенгофа. Он должен был печататься, видимо, в одном из сборников под названием «Встречи с прошлым». Но так и не был опубликован.

Здесь Никритина рассказывает о своём брате-художнике и о его связях с Горьким.

Киев... Зима (1914–1915 годы) уже военная. У нас играет Мария Фёдоровна Андреева. Но мы – дети – в театр ещё не ходим. Я учусь в гимназии, брат – в художественном училище. Он ещё занимается живописью у Александры Александровны Экстер. Левая художница. Приехала в Киев из Москвы, где работала с Таировым в Камерном театре. В 1917 году в этом театре А.А. Экстер была художником спектакля «Саломея» Оскара Уайльда. Мастерская А.А. Экстер в Киеве скоро сделалась культурным центром для передовой молодёжи того времени. Учениками А.А. Экстер были Александр Тышлер, брат и сестра Гриша и Люба

Козинцевы (теперь известный кинорежиссёр Григорий Михайлович Козинцев и Любовь Михайловна Эренбург). Занимался у А.А. Экстер и Серёжа Юткевич, теперь тоже один из ведущих режиссёров советского кино.

Когда 26 октября 1914 года в Киев на короткое время приехал к М.Ф. Андреевой М. Горький, он, конечно, посетил мастерскую А.А. Экстер, чтобы познакомиться с талантливой молодёжью. Особое впечатление произвели на М. Горького вещи моего брата Сёмы Никритина. М. Горький настолько ими увлёкся, что предложил брату ехать с ним в Питер. М. Горький и Сёма выехали в Петроград из Киева 17 ноября 1914 года. Так как у брата не было права жительства, то Алексей Максимович поселил его у себя на квартире на Кронверкском проспекте, где брат прожил довольно долго, а потом его переправили в Москву, где Сёма стал брать уроки живописи у Л. Пастернака, работал вместе с Б.Л. Мчедловым во Второй студии Московского Художественного театра.

Официальным днём основания Второй студии Московского Художественного театра считается 24 ноября 1916 года – день премьеры оформленного С. Никритиным спектакля «Зелёное кольцо» Зинаиды Гиппиус. Тогда же С. Никритин выступил с картиной «Семейный портрет» на выставке «Современная живопись» (картина эта была приобретена Е.П. Пешковой).

М. Горький и М.Ф. Андреева не переставали заботиться о брате. А я в это время поддерживала связь с Марией Фёдоровной. Она очень баловала меня, часто зазывала к себе в гости, отвозила домой на саночках. Называла себя моей приёмной матерью. Однажды, придя домой, я увидела пианино. Это Мария Фёдоровна, узнав, что я занимаюсь музыкой и не имею дома инструмента, прислала мне взятое напрокат пианино сразу на пять месяцев.

Сёма очень не любил писать писем, и все новости о нём мы узнавали с мамой обычно об Алексее Максимовиче и о Сёме.

Вскоре Мария Фёдоровна почему-то уехала из Киева, не доиграв сезон. Наша связь с ней не порывалась всю жизнь. Мария Фёдоровна очень аккуратно отвечала на мои письма.

С Алексеем Максимовичем я, по существу, не была знакома. Но как-то, уже будучи взрослой (мне было лет девятнадцать), я вместе с братом пошла в гости к Марии Фёдоровне и Алексею Максимовичу, который тогда приехал в Москву. Помню, что он очень мне понравился своей мягкой походкой, совсем неслышной, немножко иронической усмешкой. Я тогда уже потянулась в актрисы и, конечно, в Камерный театр, как самый интересный и свежий. А Мария Фёдоровна всё:

– Зачем «Камерный»? Только изломает тебя. Он нехорош как таковой...

И всё не могла высказаться, что же в нём нехорошего.

А Алексей Максимович посмеивался:

– Да что ты, Маша, всё «таковой да таковой». А что таковой, ты скажи...

Так на этом и оборвалось.

Вот и всё моё знакомство с Алексеем Максимовичем.